

# Трудные обстоятельства счастливого человека

Сценаристу и режиссеру, А. Свободину и М. Голдовской, повезло. Они начали снимать фильм об Олеге Ефреме в тот момент, когда тютчевское: «Счастливы, кто постиг сей мир в его минуты роковые» вспоминалось без принуждения, само собой. Конфликт в театре — разделение труппы МХАТа на два самостоятельных коллектива — достиг высшей точки, и тут как раз явились документалисты.

Не будь столкновения, драмы, мы, наверное, и без того имели бы хорошую картину, но юбилейную, со всеми обязательными атрибутами лент об артисте, режиссере — художнике. Человек искусства и в теперешнем фильме представлен как человек искусства, но ход к его представлению неожиданный, и это само по себе интересно.

Может быть, поначалу и просто так интересно как свидетельство некоего скандального происшествия (элемент театрального скандала в том, что случилось, и в самом деле присутствовал), однако такого рода любопытству авторы картины не потапливают. Позволяют себе обратить наше внимание на оборотную сторону театрального разрыва, непременно изобличающего преувеличенными и бесконтрольными эмоциями, но делают это с юмором и не увлекаясь. Так, один раз вслед за кадрами, где мы видим и слышим Николая Ивановича Ефремова, сетующего, что сы-

ну в эти дни очень трудно, идут встык кадры из «Айболита-66» и звучит песенка доктора — Олега Ефремова, уверяющего, что это даже хорошо, что пока нам плохо.

И еще разок-другой зрителям дана возможность удивиться и улыбнуться гримасам театральной жизни, но в целом тон картины иной. Безысходности в нем нет, но непредсказуемость и драматичность финала очевидны.

Драматург Михаил Рошин — его пьесу «Перламутровая Зинаида» Ефремов в эти дни и месяцы репетировал — просит разрешения присутствовать на профсоюзном собрании, чтобы не упустить «исторический шанс», но режиссер его расхолаживает. Самое главное, как все пойдет дальше, — в этом смысл его ответной реплики и шире — понимание не только данного случая, хоть для него и жизненно важного, но театрального бытования вообще. Того, как оно будет складываться в период перестройки.

Для движения сюжета авторы должны были снять и сняли заседание секретариата Союза театральных деятелей. Заседание было запланировано, слова же Михаила Ульянова, равно как ефремовский ответ Рошину, — нет, и тем нагляднее обнаружилось согласный взгляд на ситуацию, отношение к ней. Нет растерянности, но нет и легкости — серьезность происходящего очевидна — зато есть другое, что вселяет

надежду. Собственная позиция: «Цыкнуть, прикрикнуть — значит прервать живую, бурную линию становления демократии».

Ульянов подводит черту, определяет поведение союза на сегодняшний день и на будущее, Ефремов, с головой окунувшись в «море смут», должен искать иной выход.

Рассказывая о случившемся, кинематографисты не умалчивают и о собственных затруднениях: снять общее собрание театра противники разделения им не разрешили. Не будем гадать о причинах, но одно предположение все-таки выскажем. Может быть, потому запретили, что в глубине души стыдились стороннего взгляда на то, что сами же и сознательно готовили.

Что скрывать — многое, по началу особенно, было неясно и не сулило радужных перспектив. Люди, привыкшие считать себя артистами первого театра страны, вдруг оказались перед необходимостью начать жизнь как бы заново. Без крепких стен и надежной крыши над головой. Это пугало — и не без основания. Но вот парадокс, и дурной парадокс: прилюдно обвиняя главного режиссера едва ли не во всех смертных грехах, те, кто должен был, условно говоря, работать на улице Москвина, тем не менее ни за что не хотели существовать самостоятельно. Пусть мало играем, пусть редко выходим на сцену, но все

равно пусть будет, как было.

По существу то был едва ли не отказ от самого дорогого в судьбе — от творчества, а коль скоро от такого добровольно отрешиваются, на все остальное запрета нет. Его и не оказалось, и даже выдавшие театральные взрывы люди и те горестно развели руками. «Цивильная» же публика не знала, что и подумать.

Историки театра еще будут иметь возможность объективно разобраться в драматических обстоятельствах, ставших причиной разделения труппы Художественного театра и всех проблем, по ходу дела возникавших. Фильм сделан не историками, а людьми, безоговорочно взявшими сторону Ефремова во всей этой внутри-театральной драме.

«Человек есть человек... С таким лицом не репетируют комедию...», — такие вот слова слышим с экрана. От Борисова слышим и от Калягина, а потом видим это самое «лицо» и, как хотите, ни с одним, ни с другим до конца согласиться не можем. Да, когда Ефремов один, когда сидит, оставившись в точку, а М. Голдовской удалось снять такие крупные планы, тогда видно, что ему вряд ли до «Перламутровой Зинаиды». Но вот режиссер приходит в репетиционный зал, и язык не поворачивается сказать, что перед нами обескураженный или, того хуже, потерявший почву под ногами человек.

Возражат: выйдя на люди, взял себя в руки. Наверное, и вправду собрался с духом, но не для того, чтобы сыграть «спокойствие». Демонстрируя его, не демонстрируя, окружающих все равно не проведешь. Они по себе знают, что не волноваться сейчас нельзя.

Впечатление не только экранное, собственное. В один из тревожных дней, перед очередным, и на этот раз, кажется, решающим, собранием была веселейшая репетиция. Слово «веселейшая» таинство творчества вроде бы снижает, но по настоящему счету как раз нет. Натужно «творить», да еще комедию, да еще собравшись большим числом, — что из этого выйдет, рассудите сами. Ничего путного не выйдет. А вот, когда увлечешься, да еще так увлечешься, что все остальное из головы вон, тогда да, тогда вот он, результат...

В ту прекрасную репетицию свидетели, не участники, тревожно поглядывали на часы. Стрелка приближалась к трем, пора бы, как говорится, и кончить, но Ефремов не отнял от дела ни минуты. Даже прибавил малую толику.

Свидетельство очевидца можно при желании взять под сомнение, но камера не раз «ухватывала» то же самое, и даже сверхскептическому взгляду ясно, что перед нами не специально сыгранные эпизоды, а честная и с пониманием происходящего зафиксированная репетиция.

Репетиции мы видим на экране не раз и не два. Все остальное — разговоры, кадры из фильмов прославляются ими, но для чего? Для того — первый и верный ответ, — чтобы картина была увлекательнее. Она ведь зрелище, не так ли? Но вот второй ответ, и он не противоречит первому, но дополняет его. Репетиции дают понять, что Ефремов — художник, и, пока дух творчества, дух художества в нем силен, он счастливый человек. В любой момент он может «нырнуть» в родную стихию и хоть на какое-то время, но стать неуязвимым. И повторим — даже счастливым.

Есть и третий ответ. Он дал название фильму «Чтобы был театр», но право на это название наиболее полно подкреплено именно репетициями. Художественными аргументами больше, сильнее, нежели самыми искренними устными свидетельствами. Аргумент же в том, что Ефремов органически свой в кругу своих. Театр, конечно же, должен быть, но он возможен, если хотя бы в минуты творчества сердца многих быются согласно. Если смысл того, во имя чего стоило объединяться и держаться друг друга, понимается одинаково. Как служение искусству, а значит, людям. В остальном же пусть каждый будет сам собой, дадим это право всем, Ефремову в том числе.

Н. ЛОРДКИПАНИДЗЕ.